

Jaroslav

The boy's appearance was unusually effeminate. He had a pudgy round face, delicate pink skin, wavy, chestnut-brown hair and kind, dark brown eyes with a lively sparkle. His future wife—his one true love and fateful attachment throughout his life—would sometimes get carried away in her letters and change pronouns and verbs referring to him to the feminine form: “I sit at home, locked up all alone, because outside there are young bachelors, and my Mityulka, *she* would be jealous.” Although the cause of this might not have been so much his appearance as her touching fondness for the Russian language and her imperfect mastery of its phonetics and morphology. Or perhaps it all boils down to the same thing.

His father was a mathematician. He started out as a school teacher and ended up as a statistician in a bank. It was from him that Jaroslav inherited his unusually powerful memory. And also his exceptional reticence and his irresistible attraction to alcohol. His appearance—the rounded oval of his face, the high forehead, the close-set but bright eyes, and the dark wave of his hair—he inherited from his mother. A homemaker.

His father's name was Josef; his mother's was Kateřina. She wanted her son to be with God always. In one of his later semi-autobiographical stories, written at the end of his very short life, Jaroslav asserted that she gave her blessing for him to take the tonsure. "Why," he lamented there, "didn't I become a Benedictine monk like she wanted?" But that was hardly the case. She was just delighted that her curly-haired angel was so much in demand.

He served as an altar boy in two churches at once: at the Jesuit church of St. Ignatius of Loyola on Charles Square and at St. Stephen's parish church on Stephen Street. It is quite possible and even most probable that this early initiation—this intimate encounter with the stage and backstage of Catholic masses in Prague churches—is what repelled Jaroslav from the Church and churchly life forever. But at the same time, it bound him inseparably to the Book. To the New Testament.

Enumerating the compact possessions of a Czech revolutionary turned Bolshevik, his comrade at the Bugulma commandant's office during the Russian Civil War recalled: "On the right side of his desk was a neatly stacked pile of books: *The Communist Manifesto* by Marx and Engels (Petrograd edition), *The Constitution of the Russian Communist (Bolshevik) Party*, *The Immediate Tasks of the Soviet Government* by Lenin, Szymon Dickstein's brochure *By What Do We Live?*, three volumes of the selected works of Nikolai Gogol and Saltykov-Shchedrin, a one-volume collection of the poems of Heinrich Heine (in German) and, finally, the New Testament."

Hašek's comrade added, "If I remember correctly, he bought that copy of the New Testament from a blind nun from the Convent of the Most Holy Theotokos for one hundred rubles, and he was very proud of this acquisition of such a rare edition." So it turned out that not all of his mother Kateřina's dreams and wishes came true, but some of them nonetheless did—thank God.

The matter of his father's dreams and wishes was at once simpler and more complicated. We simply know nothing about them. We cannot even conjecture. The Slavia bank's statistician Josef Hašek, a taciturn and severe man who, unnoticed by those around him, drank heavily in total isolation, fell seriously ill and died abruptly in the influenza-tainted February of 1896. His oldest son, the boy Jaroslav, was not yet thirteen years old. But this sudden and irreplaceable loss of the father must have contributed substantially to the formation of the distinctive, but—for those around him, both nearer and more remote—enigmatic, and at times utterly inexplicable frame of mind and restless nature of the future author of the novel about the good soldier Švejk.

What was at the surface? The fear of death, of course. The simplest thing. The sudden and precocious awareness of that fear. A fear which (as is so often the case) went hand in hand with a suicidal inclination for disobedience and playfulness. A longing to throw down a challenge to nagging, importunate, inevitable death. And to deceive. To pull a fast one right here and now.

О первом, о главном, об определяющем без экивоков пишет приятель детства, а позднее и товарищ по русским окопам Вацлав Менгер: «Ярослав... панически боялся смерти, любого недомогания... лишь в самом крайнем случае преступал порог больницы... не ходил на похороны и избегал кладбищ». Все тот же самый неотвязный ужас, острое ощущение его, передает письмо жены Ярмилы, записка 1912-го, как будто бы просто увещающая, убеждающая мужа не опоздать на похороны. Похороны собственной матери: «Я очень расстроилась, что ты не пришел. Тебя искали в редакции и не нашли. Я знаю, как тебе будет больно, но постарайся прийти хотя бы на похороны... Все тебя будут высматривать, поскольку знают, что там [у постели] ты не был, хотя тебе и говорил Божа[1], что мама очень нехороша. Прошу тебя, хотя бы на похороны не опоздай».

Ярослав Гашек с детства не хотел умирать. Не хотел, как другие, все прочие, однажды закрыть глаза и не открыть. И жизнь его невольно или вольно оказалась поиском волшебной формулы бессмертия. Поиском не на небе, а на земле. Асоциальным по форме и инфантильным по содержанию. Как-будто бы в тринадцать лет, в день смерти отца, когда ему вдруг открылась жуткая неизбежность конца всему и крышки, душевное и умственное развитие будущего писателя, фельетониста, отца и мужа, бродяги, попрошайки, злого шутника и пьяницы, плута, отважного солдата и негибаемого коммуниста разом прекратилось. Законсервировалось до времени победы. Часа преодоления. Главного ужаса и страха этой жизни – небытия.

Отсюда и естественное в любом метафизическом или физическом противостоянии – агрессия. Столь характерная и отмечаемая всеми доброжелательными и не слишком, биографами автора «Швейка». Добавим самое очевидное из всех возможных объяснений. Невротическая. Агрессия, как испытание. Проверка самого себя на прочность в противостоянии ветрам и бурям, несущим страх и гибель. Проверка на отличие от всех других, иных и прочих, смертных и конечных. Слабаков.

Как время, так и эпоха, благоприятствовали. Год следующий, 1897 стал годом чешского бунта в империи, управлявшейся немецким князем и венгерскими министрами. Годом непринятого закона о равноправии чешского языка. Признании еще одним государственным. Равным на землях Богемии и Моравии, немецкому и венгерскому.

Вопрос педантским не был. Из области удобства или неудобства того или иного алфавита, простой прагматики бюрократического делопроизводства или командования войсками. В государстве, где национальная принадлежность определялась по способу нашего Владимира Даля в зависимости от языка, на котором говорит и думает человек, речь шла о фактическом нежелании признать чехов полноценной нацией. Третьей, в той же мере, как немцы или венгры, определяющей судьбу и дух страны. Как согласиться? Тем более, простить? В Праге, в колыбели европейских средневековых бунтов, начались немецкие погромы. Скандировали, призывали на баррикады. Били стекла, срывали вывески, поджигали склады, разоряли магазины. Стенка на стенку сходились чешские и немецкие студенты. Чем не время для превратившегося без должного надзора и контроля из отличников в двоечники всего лишь за год сиротства гимназиста Ярослава Гашека? Самое то.

Пока был жив отец, отроческие драки и сражения, смиховские против вышеградских на льду замерзшей Влтавы, и вышеградские против подольских на Кавчих горках, позднее с восхищением описанные во множестве рассказов и историй, стороною обходили послушного и чистенького школьника из Штепанской четверти Нового Мнеста. Он не был грозою даже для черного домашнего кота по кличке Бобеш, любимца матери. Одним словом, образец, как в школе на Житной улице, так и в храме на Карловой площади. Конечно. По воспоминаниям ровесников, маленький Ярослав «был скорее стыдлив и робок, чем боевит... к забавам и играм всех прочих присоединялся в числе последних». Еще бы, к фигуре не приглядевшись, лишь локоны увидев, розовую щечку, носик, до самого совершеннолетия, до двадцати, его принимали за девочку. За девушку.

Страшноватая, но опьяняющая сиротская вольница и бесконтрольность все изменили. Весной и летом 1897 Ярослав Гашек разом наверстал неведомое и недоданное ранее. Был в первых рядах, кричал вместе со взрослыми, пел песни, кидал камни и подносил бутылки с бензином туда, где что-то почему-либо не хотело разгораться.

И поразительно, когда других хватали, еще бы, в столице чешского королевства объявлено военное положение, наказывали, штрафовали, осуждали, сам Ярослав волшебным образом оставался неуязвимым. Сухим выходил из любой воды. Нашкодившего, опасным ставшего и для себя, и для окружающих, мальчишку, попавшего в зависимость от детского больного, спасало другое детское, здоровое и счастливое. Лукавство. Отношение к миру, что бесконечно дразнишь и испытываешь, как к маме. Маме, которая в этом самом мире естественная и единственная оппозиция могиле. Такая же константа, данность, непреходящая и неизбывная, как страшная костлявая с косой, но только понятная. Добрая. И, главное, уступчивая. А значит та сторона, из двух, между которыми зажат и пойман жизнью, которую можно, и совершенно точно нужно обласкать. То есть, надуть и обмануть. И после... потом... победу над пунктом А, считать победой и над пунктом Б. Равнонаправленной и равнозначной на том отрезке, что дано тебе судьбой пройти. Победой всеобщей, всеохватной, универсальной. Полной.

Ага. Доктор Фрейд сидит там, в своей Вене, и не знает, что сублимацию, с присущей ей и патологией, и травмой, надо ехать изучать в Прагу. И вовсе не в связи с комплексом Эдипа или Электры. И половой активностью желез.

Простая совсем формула, если прижали к стенке, с поличным взяли, схватили за руку, ведут, всех надо – маму, дворника, учителя, жандарма – как можно быстрее рассмешить. Отвлечь. Любое происшествие, наглость, агрессию, необъяснимое безумие скорее обратить в шутку, в комедию и клоунаду, и тогда... тогда ни за что ничего тебе не будет. Как сыну. Как части всех и вся.

«Дорогая мамочка, —в одном из поздних фельетонов Гашека подросток, попавшийся полиции на улице в дни чешского бунта, пишет записку домой, —завтра, пожалуйста, на обед готовьте на одну порцию меньше, поскольку мне сейчас объявили, что я буду расстрелян. Но день и время еще не назвали. Поэтому не сердись, что я не могу пока еще точно сказать, когда назначены похороны». Все громко смеются и утирают слезы. Экий, ну, в самом деле, дурачина. Мальчишка, шут, ну что с него возьмешь...

Главный начальник и жандарм требует прислать ему дело малолетнего преступника и добродушно соглашается, перечитав, что камни, найденные в кармане правонарушителя, не криминального характера. Не предназначены для разбивания окон или голов граждан, а всего лишь навсего экспонаты для школьного природоведческого кабинета. Конечно, ведь он, обер-служака, и сам, оказывается, любитель и знаток, геологических и прочих редкостей. «Вот тут агат, а это халцедон, а тот невзрачный называется кремень».

И такая подмена обмана смерти обманом жизни станет и сущностью, и сутью всего, очень короткого и очень невеселого, земного существования Ярослав Гашека – писателя, фельетониста, отца и мужа, попрошайки, злого насмешника и пьяницы, предателя, верного друга и нежного товарища, жадины, бессребреника, георгиевского кавалера, большевика по убеждению и бродяги...

Бродяги, конечно, потому что сама возможность подмены, а с ней и победы, преодоления смерти, небытия, неразрывно соединится в его сознании со свободой. Со сладкой и естественной безответственностью движения, отсутствия и исчезновения. И все оно... Все тот же водораздел. Гроб отца. Венок Йозефу Гашеку.

Мать Катержина, получив по смерти кормильца небольшую, но достаточную для легкого безумия компенсацию, не истратила деньги на мебель, обувь и не отложила детям на университет. На все, что было выдано работодателем покойного мужа банком «Славия», летом 1896 она повезла всю семью на родину, в южную Чехию, к своим. Тринадцатилетний сын Ярослав, десятилетний Богуслав и еще одна, уже полная сирота, воспитывавшаяся в доме, племянница Мария. Девочка четырнадцати лет. Все разом, вместе, по маршруту Злив, Противин, Водняны, Путим, Скочицы, Глубока, Чешские Будейовицы. Пешочком, от родственников к родственникам, по долам и весям, с небом и птицами над головой днем, с соломой и мышами под головой ночью.

И никакого страха, и никакой смерти. Стен, крыш, и узких, горбатых улиц.
Лишь даль. Лишь горизонт. Всегда гостеприимный и всегда манящий.
Дальше, дальше. Бесконечность. Живое и прямое противопоставление
небытию. Там, в Праге, затаившемся. На кладбище в Еврейской четверти.
Среди груды камней, уменьшенной модели родного города. Где тьма в
тенетах. Мрак, пустота, вечная остановка.

А тут. Между Радомышлем и Страконицами непрерывное движение.
Счастье.

Душевное потрясение было настолько сильным, что в детстве открытый, однажды обнаруженный, вот так вот, благодаря судьбе, ход номер два, или один, если по порядку – в любой невыносимой, трудной ситуации, пока не пойман, лучше уходи, станет парой шутовству. Сплетется. Припадет, как две буддийских капли – черная и белая. И в равной степени определит все мироощущение, всю жизненную философию и самого будущего автора «Швейка», и его главного героя, по сути, альтер-эго – бравого солдата. И вовсе не случайно в романе как шанс дарит Гашек своему любимцу самое интимное и верное – тот же маршрут. Будейовицкий анабазис. Сознательно и закономерно. Злив, Противин, Водняны, Путим, Скочицы, Глубока – ничем не объяснимую, кроме счастья мальчишеской безответственности, свободу. Ничего и никогда не будет, не грозит тому, кто всех надул. Оставил в дураках. Ушел и убежал.

Это Ярослав Гашек на практике проверит, и неоднократно. Как только придет самостоятельность и с нею возможность действовать. А она явится через три года.